Рина Манова



Русалка из Устья

18+

Рина Манова
Русалка из Устья

https://litres.ru/74738019
SelfPub; 2026

Аннотация

Лето 1855 года. Под Севастополем идёт война, а в Гдов приходит холера. За неделю Варвара Тихонова, дочь уездного лекаря, теряет родителей и остаётся с отцовскими долгами.

Чтобы расплатиться, она становится гувернанткой в Устье, заложенной усадьбе на берегу Чудского озера. Здесь всё чужое: холодная хозяйка, капризная воспитанница, вечные разговоры о деньгах. Однажды на берегу Варвару встречает раненый офицер, вернувшийся с войны, и принимает её за русалку. Это Дмитрий Полозов, наследник имения. Девять дней Варвара вытаскивает его из горячки и понимает, что пропала.

Но у Дмитрия есть невеста с приданым, которое спасёт Устье, а у его учтивого кузена свои тайны.

Купальская ночь, бал, буря на озере, клевета и изгнание. Варваре предстоит выбрать между гордостью и любовью, которая ей не положена.

«Русалка из Устья» — исторический роман о любви на берегах Чудского озера: старые усадьбы, крымская война, уездные балы и девушка, у которой нет ничего, кроме чести и собственных рук.

Содержание

Глава 1. Холерное лето 4
Глава 2. Чужая дверь 15
Глава 3. Возвращение 30
Глава 4. Лихорадка 42
Глава 5. Закладная 53
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Русалка из Устья

Глава 1. Холерное лето

Лето тысяча восемьсот пятьдесят пятого года пришло в Гдов не так, как приходило всегда. Обычно оно начиналось с того, что лёд на Чудском озере синел, ломался и уходил, а потом над водой вставал белый туман, пахнущий рыбой, смолой и мокрым ивняком. Мужики из Спицина и Самолвы уходили на лодках за снетком, на базарной площади появлялись первые корзины с серебряной мелкой рыбёшкой, а купчихи сидели на крылечках, обмахиваясь платками, и обсуждали, кто к кому сватался на Красную горку.

В этот год всё было иначе. Где-то далеко, у Севастополя, шла война, и каждую неделю почта привозила в уезд новые списки убитых. А в июне с петербургской стороны, по тракту, вместе с обозами и солдатами, пришла холера.

Варвара Тихонова первой во всём доме узнала о ней, потому что первой проснулась в ту ночь, когда в ставню застучали.

— Лаврентий Никитич! Батюшка-лекарь! — кричал кто-то с улицы. — Ради Христа, вставайте! У Пахомовых старуха помирает, и сын её тоже, и невестка!

Она накинула на плечи материну шаль, спустилась босиком по скрипучей лестнице и отодвинула засов. На крыль-

це стоял мальчишка лет двенадцати, без шапки, с белым от страха лицом. За его спиной, над деревянными крышами, над рябинами и тёмной громадой старой кремлёвской стены, уже серело июньское небо.

— Сейчас, — сказала Варя. — Сейчас разбужу.

Но отец уже стоял на верхней ступеньке, в халате, с фонарём в руке, и по его лицу она поняла, что он всё слышал и всё понял.

— Варенька, — сказал он, — подай мне сумку. И уксусу налей в склянку, ту, что с притёртой пробкой. И скажи матери, чтобы никого в дом не пускала, пока я не вернусь.

— Это она? — спросила Варя. — Холера?

Лаврентий Никитич помолчал.

— Похоже, что она.

Он ушёл, а Варя ещё долго стояла у открытой двери, глядя ему вслед, на его узкую сутулую спину, на покачивающийся в руке фонарь, пока он не скрылся за поворотом к Никольской улице.

Лаврентий Никитич Тихонов служил уездным лекарем в Гдове двадцать третий год. Был он сыном дьячка из-под Луги, учился в Медико-хирургической академии на казённый счёт, мог бы, говорили, остаться в столице и сделать карьеру, но предпочёл уезд. Отчего — никто толком не знал. Сам он отшучивался: в Петербурге, мол, лекарей больше, чем больных, а в Гдове на сорок верст кругом он один, и потому здесь от него хоть какая-то польза.

Жалованья ему полагалось немного, а брать с бедных он не умел. Купцы платили, когда вспоминали; помещики — когда соглашались, что он вообще чего-то стоит. Тихоновы жили в маленьком деревянном доме у самой реки Гдовки, с мезонином, с садом, где росли две старые яблони и куст жасмина, и с огородом, на котором мать Вари, Наталья Павловна, сажала огурцы, лук и мяту.

Наталья Павловна была из обедневших дворян — дочь отставного майора из Нарвы, — и когда-то, говорили, вышла за лекаря против воли родни. Об этом в доме не вспоминали, но Варя знала, что тётка, материна сестра Пелагея Павловна, до сих пор пишет им только на Рождество и на Пасху, и пишет сухо, как будто по обязанности.

Сама Варя росла странно для уездной барышни. Мать учила её французскому, музыке на старом расстроенном фортепиано и вышиванию, как полагалось. Отец же учил её всему остальному: латыни — потому что без латыни, говорил он, в медицине шагу не ступишь; ботанике — потому что половина лекарств растёт у тебя под ногами; и тому, как держать руку больного, когда считаешь пульс, и как не бояться крови. С пятнадцати лет она помогала ему перевязывать раны, готовить мази и порошки, вести записи в толстой тетради, куда он вносил всех своих пациентов.

В городе её считали красивой, но чудной. Была она невысока, тонка в талии, с тяжёлой тёмно-русой косой, которую мать заставляла укладывать короной, с серыми, очень свет-

лыми глазами — «чухонскими», как говорила кухарка Матрёна, — и с привычкой смотреть людям прямо в лицо, отчего некоторые мужчины смущались, а некоторые женщины обижались. К двадцати одному году к ней дважды сватались: письмоводитель из уездного суда и вдовый купец Кукушкин, торговавший снетком и пенькой. Обоим она отказала, и мать вздыхала, а отец только посмеивался в бороду.

— Успеется, — говорил он. — Не за первого встречного же её отдавать. Она у нас с головой.

Холера шла по Гдову три недели.

Варвара потом не могла вспомнить этих недель по порядку — они слились в одно бесконечное, душное, пахнущее хлоркой и уксусом время. Отец почти не бывал дома. Он спал по два-три часа в сутки, где придётся — в чужих сенях, в больничной избе, наскоро устроенной городничим при старой казарме, на лавке в собственной прихожей, не снимая сапог. Варя, не спрашивая позволения, стала ходить с ним.

— Нельзя тебе, — сказал он в первый раз.

— А кому можно? — ответила она. — Фельдшер Сидоров пьёт с первого дня. Сестёр милосердия здесь нет. Ты один не управишься.

Он посмотрел на неё долго и устало и ничего не сказал. Только велел мыть руки уксусом, не есть ничего в чужих домах и не пить сырой воды.

Она видела, как умирают люди — быстро, страшно, за несколько часов из здоровых, крепких превращаясь в серые,

сморщенные, ссохшиеся подобия себя. Она видела, как отец растирает больным руки и ноги, отпаивает их горячим вином с перцем, ставит горчичники, как бьётся над каждым, будто над родным. Видела, как он плачет — один раз, ночью, у колодца, думая, что его никто не видит, — над умершей девочкой Пахомовых, которой было шесть лет.

В середине июля стало легче. Заболевших с каждым днём делалось меньше, на базар снова начали съезжаться мужики из деревень, в соборе отслужили благодарственный молебен. Протоиерей отец Иоанн Преображенский, высокий, седой, с густым басом, сказал с амвона, что Господь смилостивился над Гдовом по молитвам праведных, и при этом посмотрел прямо на Лаврентия Никитича, стоявшего у колонны, — и половина собора посмотрела туда же.

А через три дня заболела мать.

Наталья Павловна слегла утром, ещё до рассвета, а к полудню её уже нельзя было узнать. Отец не отходил от неё ни на шаг. Варя грела воду, носила кирпичи, завёрнутые в полотенца, держала мать за руки, которые становились всё холоднее, синее, будто чужие.

— Варенька, — прошептала мать под вечер, когда ненадолго пришла в себя. — Варенька, ты не бойся. Слышишь?

— Я не боюсь, мамочка.

— Неправда. Боишься. — Губы Натальи Павловны тронуло что-то похожее на улыбку. — Ты отца береги. Он ведь… он ведь без меня не умеет. Ничего не умеет. Даже чай зава-

рить.

Она умерла в ту же ночь, в начале третьего часа, когда над озером пошёл мелкий тёплый дождь. Отец сидел у её постели неподвижно, держа её руку в своих ладонях, и не плакал, и не говорил ни слова. Когда Варя попыталась его увести, он сказал ей только:

— Ступай, дочка. Ступай спать. Я посижу.

Утром, когда она спустилась вниз, он сидел на том же месте, в той же позе, и лицо у него было серое, и руки дрожали.

— Папенька, — сказала она, и сердце у неё оборвалось. — Папенька, ты…

— Не подходи, — сказал он хрипло. — Не подходи ко мне, Варя. Позови Матрёну. Пошли за Сидоровым, если он трезв. И к отцу Иоанну пошли.

Она не послушалась. Она не отходила от него ни на минуту, ни днём, ни ночью — и делала всё то, чему он сам её научил за эти недели, всё то, что он делал для других. И всё было напрасно. Лаврентий Никитич Тихонов, двадцать три года лечивший весь Гдовский уезд, прожил после жены неполных двое суток. Перед смертью он долго смотрел на дочь, будто хотел что-то сказать, и наконец сказал, с трудом шевеля губами:

— Тетрадь… возьми мою тетрадь. И не дай им… не дай себя… — Он не договорил.

Варвара так и не узнала, чего не должна была позволить. Но тетрадь взяла.

Их хоронили вместе, на городском кладбище за рекой, в одной могиле, по случаю холеры наскоро, без долгой службы. Пришло, однако, много народу. Пришли Пахомовы, похоронившие четверых. Пришли мещане с Никольской, рыбаки из Спицина, бабы с базара. Пришёл даже городничий, Аполлон Карлович Штейн, сухой и чопорный остзеец, и постоял, сняв фуражку, у края могилы. Отец Иоанн отпевал сам, и голос у него срывался.

Варвара стояла у могилы в материном чёрном платье, наскоро ушитом в талии, и не плакала. Она не плакала уже третий день. Слёзы высохли, остались где-то внутри, тяжёлым горячим камнем под сердцем, и ей казалось, что если она хоть раз заплачет, то уже не сможет остановиться никогда.

Когда все разошлись, отец Иоанн подошёл к ней и взял её за обе руки.

— Варвара Лаврентьевна, — сказал он. — Дитя моё. Пойдём ко мне. Попадья накормит тебя. Нельзя тебе сейчас одной.

— Спасибо, батюшка, — сказала она. — Я домой пойду.

— Варенька…

— Я домой пойду, — повторила она. — Мне надо… мне надо прибраться. Там всё не убрано.

Он посмотрел на неё с жалостью и не стал спорить.

Дом без отца и матери оказался огромным и чужим. Варвара ходила по нему из комнаты в комнату, трогала вещи — материну рабочую шкатулку с недовязанным чулком, отцо-

вы очки, забытые на подоконнике, его халат на гвозде, — и не могла поверить, что это навсегда. Кухарка Матрёна плакала на кухне в голос, по-деревенски, с причитаниями, и Варе хотелось одновременно утешить её и закричать, чтобы она замолчала.

На четвёртый день пришли кредиторы.

Первым явился купец Кукушкин — тот самый вдовец, что сватался к ней год назад. Был он грузен, рыж, с маленькими цепкими глазками и в сюртуке, тесном в плечах. Он долго крестился на образа в углу, долго вздыхал, выражая соболезнования, а потом вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу.

— Вы уж простите, Варвара Лаврентьевна, что в такое время, — сказал он. — Да ведь дело-то такое… Батюшка ваш, царствие ему небесное, брал у меня в позапрошлом году сто восемьдесят рублей серебром. На лекарства, говорил, для больницы. Вот и расписочка. Я, конечно, не тороплю. Но ведь и мне жить надо. Время нынче тяжёлое, война.

Варвара взяла расписку. Почерк был отцовский — мелкий, торопливый, с сильным наклоном вправо.

— Я верну, — сказала она. — Не знаю ещё как, но верну.

Кукушкин помялся.

— Да оно, конечно… А только, Варвара Лаврентьевна, ежели позволите… Дело ведь можно и по-другому повернуть. Я человек вдовый, сами знаете. Дом у меня каменный, лавки две. Ежели бы вы, так сказать, пересмотрели своё

прежнее решение… То и долг бы, само собой, забылся. Какой же долг между своими?

Она подняла на него глаза — прямо, как всегда, — и он смешался и отвёл взгляд.

— Подите вон, Кузьма Ильич, — сказала она, не повышая голоса.

— Да я ж от чистого сердца…

— Подите вон. Деньги я вам верну.

Кукушкин ушёл, бормоча что-то про гордость, которая не к лицу сироте. А на следующий день явились другие. Аптекарь Шнейдер, которому отец задолжал за лекарства. Домовладелица — оказалось, что дом у реки, где Варя родилась и прожила всю жизнь, вовсе не принадлежал Тихоновым, а был снят у вдовы титулярного советника Мамонтовой и плата за него не вносилась с самого Рождества. Лавочник. Дровяник. Сапожник.

Вечером Варвара села за отцов стол, зажгла свечу и, как учил её отец, всё записала в столбик: что должны они и что должны им. Вышло, что должна она без малого четыреста рублей. А в доме, считая отцовы серебряные часы, материны серьги с гранатами, фортепиано, посуду и книги, было едва ли на сто пятьдесят.

Она долго сидела над этим листком. Потом открыла отцовскую тетрадь — ту, о которой он говорил перед смертью, — и стала листать её в надежде найти в ней что-то, что всё объяснит и всё исправит.

Тетрадь была исписана почти вся, от первой страницы до последней. Фамилии, даты, болезни, назначенные средства. «Иван Пахомов, мещанин, 34 л. Горячка. Хина, обтирания». «Девица Кукушкина, 8 л. Скарлатина. Выздоровела». «Г-жа Полозова, Елизавета Аркадьевна, из Устья. Мигрень, бессонница. Лавровишневые капли. Не платит третий год». Варя улыбнулась сквозь сухие глаза: это было так похоже на отца — записать, что не платит, и всё равно ездить.

А в самом конце, на последней странице, отцовским торопливым почерком, но крупнее обычного, было написано: «Варенька. Если со мной что случится — иди к о. Иоанну. Он знает. Не продавай себя за долги. Ни за что. Ты стоишь большего, чем всё это».

И вот тогда, наконец, она заплакала.

Она плакала долго — всю ночь, уткнувшись лицом в отцову тетрадь, сползя со стула на пол, не стыдясь никого, потому что стыдиться было некого. Плакала об отце, о матери, о маленькой девочке Пахомовых, о доме, который уже не был её домом, о жасмине в саду, который никто больше не будет поливать. Плакала о себе — о той Варе, которая ещё месяц назад сидела на крыльце с книжкой и смеялась над отцовскими шутками, и которой больше не было.

К утру слёзы кончились. Она поднялась с пола, умылась холодной водой из кувшина, переплела косу и посмотрела на себя в материно зеркальце. Из зеркала на неё глядела бледная, осунувшаяся девушка с припухшими веками и упрямо

сжатым ртом.

— Ну что ж, — сказала ей Варвара вслух. — Ну что ж, Варвара Лаврентьевна. Будем жить.

И пошла к отцу Иоанну.

Глава 2. Чужая дверь

Отец Иоанн жил в каменном доме возле собора, за старой крепостной стеной, где из щелей между валунами росла рябина и где по вечерам кричали галки. Попадья, Анисья Петровна, маленькая, круглая, хлопотливая, усадила Варвару за стол, поставила перед ней тарелку горячих щей и не отходила, пока та не съела всё до последней ложки.

Только потом отец Иоанн позвал её в свой кабинет — тесную комнату, сплошь заставленную книгами, с киотом в углу и с видом из окна на серую гладь озера.

— Отец ваш, — начал он, усаживаясь в кресло и глядя на неё из-под густых седых бровей, — приходил ко мне в самом начале июля. Когда холера только начиналась. И оставил вот это.

Он выдвинул ящик стола и достал оттуда небольшой холщовый мешочек. В мешочке что-то звякнуло.

— Шестьдесят два рубля серебром, — сказал отец Иоанн. — Всё, что у него было. Сказал: если, мол, со мной что случится, отдайте Варе. И ещё сказал — найдите ей место. Не в замужество, сказал, а место. Чтобы она сама могла решать.

Варвара смотрела на мешочек и не брала его.

— Он знал? — спросила она. — Он знал, что может умереть?

— Лекарь, который идёт к холерным, всегда знает, что

может умереть, — тихо ответил отец Иоанн. — Он знал и шёл. Таков был ваш батюшка, Варвара Лаврентьевна. Помнить его будут в Гдове долго. Дольше, чем многих господ.

Она взяла мешочек. Он был тёплый, будто отец только что держал его в руках.

— Шестьдесят два рубля, — сказала она. — А долгу почти четыреста.

— Знаю. С долгами я поговорю. Шнейдер подождёт, он человек честный. Вдова Мамонтова тоже подождёт, она мне обязана. А Кукушкину… — отец Иоанн нахмурился, — с Кукушкиным я поговорю особо. Слыхал я, о чём он к вам приходил толковать. Не тревожьтесь об этом. Но жить вам на что-то надо, и надо платить. А потому — слушайте.

Он помолчал, разглаживая на столе какое-то письмо.

— В Устье, у Полозовых, нужна гувернантка. Француженка их, мадемуазель Дюпре, сбежала в Петербург, едва про холеру прослышала. Девочке, Софье Николаевне, тринадцать лет, и её надобно учить — языку, музыке, рисованию, географии, всему. Елизавета Аркадьевна писала мне, просила подыскать кого-нибудь из благородных и чтобы непременно говорила по-французски. Жалованье предлагают — сто восемьдесят рублей в год, со столом и квартирой.

Варвара подняла голову.

— Полозовы, — повторила она. — Из Устья. Батюшка к ним ездил. У Елизаветы Аркадьевны мигрени.

— Ездил, — кивнул отец Иоанн, и что-то мелькнуло в его

глазах — то ли насмешка, то ли печаль. — И, должно быть, записал в свою тетрадь, что она не платит. Я знаю. Дом тот не простой, Варвара Лаврентьевна, скажу вам честно. Николай Петрович — добрейший человек, но слабый, и дела у него, говорят, плохи. Имение заложено. А Елизавета Аркадьевна… — он помедлил, подбирая слова, — женщина гордая. Себе на уме. Ей нужна не столько учительница для дочери, сколько ещё одна пара рук в доме. Будет она вами помыкать, предупреждаю. Будет напоминать, кто вы, а кто она.

— А кто я? — спросила Варвара.

— Вы — дочь лекаря и дворянки, сирота без гроша. Для неё — почти прислуга. Вот как она будет на вас смотреть. Вы готовы к этому?

Варвара не отвечала. За окном над озером кружили чайки, далеко-далеко, у самого горизонта, где вода сливалась с небом, белел парус.

— Батюшка написал мне: не продавай себя за долги, — сказала она наконец. — За гувернантство ведь — не продаю. Это работа. Честная работа. Я поеду.

Отец Иоанн вздохнул и перекрестил её.

— Тогда напишу Елизавете Аркадьевне нынче же. Да хранит вас Бог, дитя моё.

В Устье её повезли через неделю, в начале августа, в тряской бричке, которую прислали за ней из имения.

Дорога шла на юг, вдоль озера, то приближаясь к самой воде, то уходя в сосновый бор, сухой и звонкий, пахнущий

смолой и нагретым на солнце мхом. Попадались деревни — серые избы, сети, развешанные для просушки на кольях, перевёрнутые лодки на песке, коптильни, из которых тянуло дымом и рыбой. Бабы в повязанных низко платках провожали бричку долгими взглядами. Мальчишки бежали следом, пока не отставали.

Кучер, пожилой молчаливый мужик Ефим, за всю дорогу сказал только две фразы. Первую — когда выезжали из Гдова:

— Держитесь, барышня, тряско будет.

Вторую — когда за поворотом, на высоком берегу над озером, показались белые колонны:

— Вот оно, Устье.

Варвара привстала на сиденье, чтобы лучше видеть.

Дом стоял на холме, там, где маленькая речка Желча — местные звали её просто Устьинкой — впадала в Чудское озеро. Он был деревянный, но оштукатуренный и выкрашенный в бледно-жёлтый цвет, с белым фронтоном и шестью колоннами, с двумя одноэтажными флигелями по бокам, соединёнными с главным домом крытыми галереями. К дому вела длинная липовая аллея, а за ним, спускаясь уступами к воде, лежал парк — с прудом, с беседкой на мысу, со старой оранжереей, стёкла которой горели на солнце, как расплавленное золото.

Когда-то, видно, всё это было великолепно. Но и издали было заметно, что штукатурка на колоннах облупилась, что

крыша левого флигеля провалилась и залатана досками, что дорожки в парке заросли травой, а в оранжерее не хватает доброй трети стёкол.

Бричка въехала во двор и остановилась у крыльца. Ефим слез, снял с запяток её единственный сундучок — материн, обитый кожей, с медными углами, — и поставил его на ступени.

Никто их не встречал.

Варвара постояла, не зная, что делать. Потом поднялась на крыльцо и потянула за ручку тяжёлую двустворчатую дверь.

В передней было прохладно и сумрачно. Пахло воском, старым деревом и почему-то яблоками. На стенах висели оленьи рога и потемневшие от времени портреты в золочёных рамах. Где-то в глубине дома кто-то играл на фортепиано — гаммы, одну и ту же, раз за разом, со злым упорством сбиваясь на одном и том же месте.

Из боковой двери вышла высокая костлявая женщина лет пятидесяти в тёмном платье и с огромной связкой ключей на поясе.

— Вы, должно быть, гувернантка, — сказала она, оглядев Варвару с головы до ног одним быстрым, цепким взглядом. — Тихонова?

— Да. Варвара Лаврентьевна Тихонова.

— Я — Марфа Игнатьевна, экономка. Барыня примет вас через час, когда встанет после обеденного отдыха. Пока пой-

дёмте, покажу вам комнату.

Комната оказалась в мезонине, под самой крышей, — маленькая, скошенная, с низким потолком и единственным окном, выходившим на озеро. В ней стояли узкая железная кровать, умывальник, комод, стул и столик у окна. Было чисто, но пусто и жарко: солнце целый день грело крышу.

— Прежде здесь мадемуазель жила, — сказала Марфа Игнатьевна. — Француженка. Всё жаловалась, что душно. Ну да вы, чай, не француженка, привыкнете.

Варвара подошла к окну. Внизу, за парком, за тёмными верхушками лип, лежало озеро — огромное, бескрайнее, сине-серое, покрытое мелкой рябью. Солнце сверкало на нём миллионом искр. Далеко на горизонте темнела полоска чужого, эстляндского берега.

— Привыкну, — сказала она. — Здесь красиво.

Экономка посмотрела на неё с некоторым удивлением и, кажется, впервые чуть смягчилась.

— Красиво, — согласилась она. — Только зимой ветер с озера такой, что окна трещат. Ну, располагайтесь.

Елизавета Аркадьевна Полозова приняла её в малой гостиной — комнате с голубыми штофными обоями, выцветшими до белизны там, где на них падало солнце, с мебелью красного дерева и с большим портретом над диваном.

Хозяйка дома сидела в кресле у окна, с пяльцами на коленях, и не встала, когда Варвара вошла. Была она высока, стройна, всё ещё хороша собой, несмотря на свои сорок во-

семь лет: с прямой спиной, с гладко зачёсанными чёрными волосами, в которых лишь кое-где блестела седина, с тонким надменным лицом и тёмными, почти чёрными глазами. На ней было серое шёлковое платье и кружевная наколка, а на груди — большая брошь: золотая, с крупным изумрудом в окружении мелких жемчужин.

— Садитесь, — сказала она, указав Варе на стул — не на диван, не на кресло, а на жёсткий стул у двери. — Отец Иоанн писал мне о вас. Вы дочь Тихонова?

— Да, сударыня.

— Ваш отец бывал у нас. Он был… — Елизавета Аркадьевна помедлила, — он был неплохой лекарь. Хотя и с причудами. Мне очень жаль, что он умер.

— Благодарю вас.

— Отец Иоанн уверяет, что вы говорите по-французски.

— Говорю, сударыня, — ответила Варвара по-французски. — И по-немецки немного. И читаю по-латыни.

Елизавета Аркадьевна чуть приподняла брови.

— По-латыни? Зачем девице латынь?

— Отец считал, что она развивает ум, сударыня.

— Ум, — повторила Елизавета Аркадьевна с лёгкой гримаской. — Что ж. Моей дочери ум не повредит. Он у неё есть, но она его не употребляет. Она ленива, капризна и упряма, предупреждаю вас сразу. Мадемуазель Дюпре плакала от неё каждую неделю. Посмотрим, долго ли продержитесь вы.

Она отложила пяльцы и оглядела Варвару так же, как прежде экономка — медленно, с головы до ног.

— Условия вам известны. Сто восемьдесят рублей в год, стол и квартира. Обедаете вы с семьёй, когда нет гостей, а когда есть — с Софьей в классной. С прислугой вы не фамильярничаете, но и не важничаете. В гостиную вечером выходите, только если вас позовут. Я, бывает, страдаю мигренями. В такие дни вы мне будете читать. Ещё вы будете помогать Марфе Игнатьевне по хозяйству, когда она попросит, — с бельём, с вареньями, с чем придётся. Дом большой, рук не хватает. Вас это не затруднит?

Варвара вспомнила слова отца Иоанна: «Ей нужна не столько учительница, сколько ещё одна пара рук».

— Не затруднит, сударыня.

— Хорошо. И ещё одно. — Тёмные глаза Елизаветы Аркадьевны вдруг сузились. — В доме, кроме моего мужа и дочери, живёт мой племянник, Евгений Аркадьевич Ладыжин. Он помогает Николаю Петровичу с делами имения. А осенью или зимой, даст Бог, вернётся из армии мой сын. Я надеюсь, вы понимаете своё положение и не забудете, что вы здесь — гувернантка. Девушки в вашем положении, бывает, забывают. Тогда я отказываю им от места. Без рекомендаций.

Варвара почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Но она не опустила глаз.

— Я понимаю своё положение, сударыня, — сказала она ровно. — И помню его. Можете не беспокоиться.

Елизавета Аркадьевна смотрела на неё ещё несколько мгновений, будто проверяя, не дерзость ли это. Потом слегка кивнула.

— Ступайте. Марфа Игнатьевна отведёт вас к Софье.

Выходя, Варвара невольно бросила взгляд на портрет над диваном. На нём был изображён молодой офицер в тёмно-зелёном мундире, с саблей на боку, — темноволосый, с упрямым подбородком, с материными тёмными глазами и с каким-то совсем не материнским, насмешливым и тёплым выражением в уголках губ. Художник, видно, был не из лучших, но что-то живое ему ухватить удалось: казалось, офицер вот-вот улыбнётся и скажет что-нибудь дерзкое.

— Это Дмитрий Николаевич, — сказала Марфа Игнатьевна уже в коридоре, заметив её взгляд. — Молодой барин. Под Севастополем он. Барыня за него каждый день молебен заказывает.

Софья Николаевна Полозова оказалась той самой, кто терзал фортепиано гаммами.

Когда Варвара вошла в классную — светлую угловую комнату с глобусом, картами на стенах и старым кабинетным роялем, — девочка даже не обернулась. Она сидела за инструментом, сгорбившись, и с ожесточением колотила по клавишам, снова и снова сбиваясь на одном и том же переходе.

Была она худенькая, нескладная, с длинными руками и ногами, с тёмной растрёпанной косой и тонкой шеей, как у всех подростков, ещё не решивших, кем им быть — гадким

утёнком или лебедем.

— Софья Николаевна, — сказала экономка. — Вот ваша новая гувернантка.

— Мне не нужна гувернантка, — ответила девочка, не оборачиваясь. — Мне нужно, чтобы меня оставили в покое.

— Софья Николаевна!

— Оставьте нас, Марфа Игнатьевна, — сказала Варвара. — Мы сами познакомимся.

Экономка с сомнением покачала головой, но вышла. Варвара подошла к роялю и, не говоря ни слова, встала у девочки за спиной. Та продолжала играть, нарочно громко и фальшиво.

— Четвёртым пальцем, — сказала Варвара спокойно, когда Соня в очередной раз споткнулась. — Вы подкладываете третий, а надо четвёртый. Тогда рука не перекручивается.

Соня обернулась и сердито уставилась на неё. Глаза у неё были отцовские, а не материнские — светло-карие, почти золотые, с длинными ресницами.

— А вы откуда знаете?

— Меня так учили. Попробуйте.

Соня фыркнула, но повернулась к клавишам и попробовала. Переход вышел.

— Подумаешь, — сказала она. — Это случайно.

— Возможно. Попробуйте ещё раз.

Во второй раз тоже вышло. И в третий. Соня сыграла гамму целиком, от начала до конца, и замолчала, глядя на свои

руки.

— Мадемуазель Дюпре говорила, что у меня руки как грабли, — сказала она вдруг тихо. — И что я никогда ничему не научусь.

— Мадемуазель Дюпре ошибалась, — ответила Варвара. — Руки у вас длинные. Это хорошо. Через год вы будете брать октаву без труда, а я — так и не научилась.

Соня посмотрела на неё снизу вверх, недоверчиво и с интересом.

— А правду говорят, что у вас мама и папа от холеры умерли?

Варвара ответила не сразу.

— Правду.

— И вам не страшно было?

— Страшно. Очень.

Девочка о чём-то подумала.

— У меня брат на войне, — сказала она. — Митя. Я каждую ночь думаю, что его убьют. И мне тоже страшно. А мама говорит, что бояться — недостойно. Что мы Полозовы и должны держаться.

— Бояться не стыдно, — сказала Варвара. — Стыдно только позволять страху всё за тебя решать.

Соня уставилась на неё. Потом подвинулась на табурете, освобождая место.

— Садитесь, — сказала она. — Покажите, как октаву брать. Хоть посмотрю.

В тот вечер, когда Варвара уже поднималась к себе в мезонин, на тёмной лестнице её окликнули.

— Новая гувернантка? Вот как. А я думал, тётушка опять выписала какую-нибудь сушёную воблу из Ревеля.

Она обернулась. Внизу, у перил, стоял мужчина лет тридцати — высокий, широкоплечий, светловолосый, с красивым, немного обрюзгшим лицом и пышными бакенбардами. Сюртук на нём был расстёгнут, от него пахло вином и табаком. Он смотрел на неё снизу вверх, и взгляд его медленно скользнул от её лица к груди, к талии и обратно.

— Евгений Аркадьевич Ладыжин, — представился он, не дожидаясь, пока она спросит. — Кузен вашей воспитанницы, управитель этого прекрасного разорённого имения и, смею надеяться, ваш будущий друг. Как вас зовут, прелестное дитя?

— Варвара Лаврентьевна, — ответила она сухо. — Покойной ночи, сударь.

— Варвара, — повторил он, будто не слыша. — Варенька. Какое милое, простое имя. Мы с вами непременно подружимся, Варенька. В этом доме ужасно скучно. Тётушка молится, дядюшка играет в карты с соседями, кузина дуется. А по вечерам совершенно нечем заняться.

Он шагнул на первую ступеньку. Варвара не двинулась с места.

— Мне есть чем заняться по вечерам, сударь, — сказала она. — Я готовлю уроки. Покойной ночи.

Она повернулась и пошла наверх, не ускоряя шага, хотя сердце у неё колотилось. За спиной она слышала его тихий, ленивый смех.

В своей комнатке она заперла дверь на задвижку и долго стояла у окна, глядя на тёмное озеро, где отражалась луна. Ей вспомнились слова Елизаветы Аркадьевны: «Девушки в вашем положении, бывает, забывают».

«Нет, — подумала Варвара. — Я не забуду. Ни своего положения, ни того, кто я есть».

Она легла на узкую жёсткую кровать, подложив руку под щёку, и долго не могла уснуть, слушая, как шелестят внизу липы и как плещет у берега вода.

Так прошёл август, а за ним половина сентября.

Варвара постепенно привыкала к Устью — к его скрипучим полам и сквознякам, к долгим обедам, на которых Николай Петрович, добродушный, полный, лысеющий, рассказывал одни и те же охотничьи истории, а Елизавета Аркадьевна смотрела в тарелку; к Марфе Игнатьевне с её ключами, к горничной Глаше, бойкой хорошенькой девушке, которая сначала дичилась её, а потом стала забегать по вечерам посплетничать; к старой няне Агафье, которая растила когда-то ещё самого молодого барина и теперь доживала свой век в каморке за кухней, перебирая чётки.

Соня оттаивала медленно, но верно. Она уже не колотила по клавишам, а играла — пусть неуверенно, но с чувством. Она перестала прятаться от уроков в парке, а однажды, к

изумлению всего дома, сама попросила ещё час географии — оттого что Варвара рассказывала про Индию так, будто сама там бывала.

Ладыжин попадался ей часто — слишком часто. В коридорах, на лестнице, в парке. Всегда учтивый, всегда улыбающийся, всегда стоящий чуть ближе, чем следовало. Варвара научилась обходить его стороной, не оставаться с ним наедине и делать вид, что не замечает его взглядов.

А в середине сентября пришло известие о падении Севастополя.

Его привёз из Гдова сам Николай Петрович вместе с газетами, и Варвара никогда не забудет, как он вошёл в гостиную — серый, постаревший разом на десять лет, — и как Елизавета Аркадьевна поднялась ему навстречу и спросила одними губами:

— Митя?

— Жив, — сказал Николай Петрович и тяжело опустился в кресло. — Жив, Лиза. Ранен. Письмо от его полкового командира. Ранен на Малаховом кургане, в последний день. Лежит в госпитале в Симферополе. Как только сможет вынести дорогу, его отправят домой.

Елизавета Аркадьевна, прямая, гордая Елизавета Аркадьевна, которая учила дочь, что бояться недостойно, — пошатнулась и закрыла лицо руками. А Соня, сидевшая рядом с Варварой на диване, вдруг крепко-крепко вцепилась в её руку и заплакала, уткнувшись ей в плечо.

Варвара обняла девочку и посмотрела на портрет над диваном. Офицер с насмешливыми глазами смотрел на неё сверху с непонятной усмешкой.

«Значит, он вернётся, — подумала она. — Молодой барин».

И сама не знала, отчего у неё вдруг так тревожно и сладко сжалось сердце.

Глава 3. Возвращение

Октябрь в тот год выдался ненастный. Дожди шли неделями, дороги развезло так, что почта из Гдова приходила раз в десять дней, а то и реже. Озеро потемнело, стало свинцовым и злым; по утрам над ним висел холодный туман, а к вечеру поднимался ветер и гнал на берег длинные пенные валы.

В Устье ждали. Ждали каждый день, каждый час — с тех пор как пришло второе письмо, уже от самого Дмитрия Николаевича, короткое, написанное неровным, чужим почерком: «Выехал из Симферополя. Буду, как позволят дороги. Не тревожьтесь обо мне, маменька, я вполне здоров. Ваш Д.»

— Вполне здоров, — повторяла Елизавета Аркадьевна, перечитывая письмо в десятый, двадцатый раз. — Вполне здоров! Посмотрите на почерк. Он и пера держать не может.

Она велела приготовить его комнаты в правом крыле, протопить их, проветрить, перестелить постель. Она сама перебирала его книги, расставляла на столе его вещи. Варвара видела, как она однажды долго стояла в дверях этих комнат, глядя на пустую кровать, и лицо у неё было совсем другое — не надменное, не холодное, а растерянное и почти молодое.

Николай Петрович каждый вечер выходил на крыльцо и подолгу смотрел на липовую аллею, по которой никто не ехал. Соня перестала спать по ночам и приходила утром на уроки с покрасневшими глазами.

А Ладыжин стал мрачен.

Варвара не сразу поняла отчего, но однажды, случайно услышав его разговор с Николаем Петровичем в кабинете — дверь была неплотно прикрыта, и она шла мимо с Сониными тетрадями, — догадалась.

— Вы ведь понимаете, дядюшка, — говорил Ладыжин своим мягким, вкрадчивым голосом, — что Дмитрий в делах ничего не смыслит. Он военный. Он привык командовать ротой, а не считать доходы с рыбных тоней. Если вы позволите ему вмешиваться, всё, что я наладил за эти три года…

— Ничего ты не наладил, Женя, — ответил Николай Петрович устало. — Доходы падают каждый год. Ты сам мне это говорил.

— Из-за войны, дядюшка! Из-за неурожая! Но я обещаю вам…

Варвара ускорила шаг и не услышала, что именно обещал Ладыжин.

В последних числах октября, в один из тех серых, тусклых дней, когда кажется, что солнце уже никогда не взойдёт, Варвара пошла на берег.

Она ходила туда часто — когда выдавался свободный час, когда Соня спала после обеда или когда тоска по дому становилась невыносимой. Внизу, под парком, за старыми ивами, был маленький песчаный мыс, где стояла полуразвалившаяся купальня, а дальше тянулся пустынный берег до самой рыбачьей деревни. Там можно было стоять сколько угодно,

смотреть на воду и ни о чём не думать.

В тот день ветер был особенно силён. Он рвал с неё шаль, выбивал из-под капора пряди волос, бросал в лицо холодные брызги. Озеро ревело. Валы шли один за другим, высокие, мутные, и с грохотом разбивались о прибрежные камни.

Варвара уже собиралась возвращаться, когда увидела лодку.

Это была рыбачья лодка — большая, чёрная, просмолённая, с одним парусом, — и её несло прямо к берегу, к мысу, где стояла Варвара. Двое мужиков, скинув парус, отчаянно гребли, борясь с волнами. Лодку бросало вверх и вниз, захлёстывало. На корме, вцепившись в борт, сидел кто-то третий, в серой шинели.

Варвара сбежала к самой воде. Лодка ударилась днищем о песок, накренилась, и один из гребцов, спрыгнув по пояс в воду, потащил её к берегу. Второй помог выбраться человеку в шинели.

— Говорил же я, ваше благородие, — ворчал мужик, — переждать надо было в Спицине. Ветрище-то какой. Не ровен час, перевернулись бы.

— Не перевернулись же, — ответил человек в шинели. Голос у него был низкий, хрипловатый и, несмотря на всё, весёлый. — Ступайте, ребята. Спасибо вам. Вот, держите.

Он вынул что-то из кармана и сунул мужику в руку. Тот поклонился, и оба рыбака, налегая на вёсла, снова оттолкнули лодку от берега — видно, чтобы укрыться в устье речки.

Человек в шинели повернулся, сделал несколько шагов по мокрому песку — и пошатнулся. Варвара, сама не понимая, что делает, бросилась к нему и подхватила его под руку.

— Осторожнее, — сказала она. — Здесь камни.

Он посмотрел на неё. Капюшон шинели упал, и Варвара увидела лицо — худое, обветренное, давно не бритое, с запавшими щеками и тёмными кругами под глазами. Лицо было бледное, почти серое, но глаза — тёмные, с насмешливыми искорками в уголках — были живые и внимательные.

Она узнала эти глаза сразу. Она смотрела на них каждый день, проходя через малую гостиную.

— Вот так встреча, — сказал он и вдруг улыбнулся. — Я и не знал, что в Устье теперь водятся русалки. Да ещё такие хорошенькие. Ты чья, красавица? Новенькая? Из дворовых?

Варвара почувствовала, как её щёки заливает краска — не то от досады, не то от чего-то другого.

— Я не из дворовых, — сказала она. — И не русалка. Обопритесь на меня, сударь, вам дурно.

— Мне? Ничуть. Я вполне здоров, — сказал он, и Варвара чуть не рассмеялась — так похоже это было на письмо, которое его мать перечитывала двадцать раз.

Но в ту же секунду он снова пошатнулся, и ей пришлось обхватить его обеими руками, чтобы он не упал. Он был высокий, выше её на голову, и тяжёлый, и под шинелью она почувствовала, как его бьёт крупная дрожь.

— Да у вас жар, — сказала она. — Вы горите весь.

— Пустяки. Немного продуло в лодке.

— Не пустяки. — Она нащупала его запястье и, сама не замечая, привычно начала считать пульс — как учил отец. Пульс был частый, неровный. — Вы ранены? Куда?

Он посмотрел на неё с изумлением.

— Вот уж не думал, что русалки щупают пульс. В бок. Осколком. Под Малаховым. Его вынули, но рана, кажется, опять открылась. Дорога была скверная.

— Нам нужно в дом, — сказала Варвара. — Немедленно. Вы можете идти?

— Могу, если вы меня не бросите.

— Не брошу.

Они пошли — медленно, тяжело, вверх по тропинке через парк, мимо ив, мимо пруда, мимо беседки. Ветер толкал их в спины. Он опирался на её плечо всё тяжелее, и Варвара чувствовала его горячее дыхание у своего виска, его руку на своей талии, тепло его тела сквозь мокрое сукно шинели.

— А всё-таки, — сказал он на полдороге, переводя дух у старой липы, — кто же вы? Раз не русалка и не дворовая?

— Гувернантка вашей сестры, — ответила она. — Варвара Лаврентьевна Тихонова.

Он помолчал.

— Тихонова? Дочь доктора?

— Да.

— Я помню вашего отца. Он вытаскивал мне занозу, когда мне было лет десять, и при этом рассказывал про пиратов,

чтобы я не ревел. Как он поживает?

— Он умер, — сказала Варвара. — Летом. От холеры. И мама тоже.

Он остановился и посмотрел на неё — уже без насмешки.

— Простите, — выговорил он. — Я не знал. Простите меня, Варвара Лаврентьевна. И за «красавицу» тоже простите. Я, видно, совсем одичал на войне.

— Пойдёмте, — сказала она, не поднимая глаз. — Пойдёмте, Дмитрий Николаевич. Вас ждут.

Когда они поднялись на крыльцо, Варвара, не выпуская его руки, толкнула дверь и крикнула в полутёмную переднюю:

— Марфа Игнатьевна! Глаша! Скорее! Дмитрий Николаевич приехал!

Что было потом, она помнила смутно. Топот ног, крики, хлопанье дверей. Глаша, выронившая поднос. Марфа Игнатьевна с ключами, бегущая по лестнице, — Варвара никогда не видела, чтобы она бегала. Николай Петрович в домашней куртке, без галстука, с трясущимися губами. Соня, вылетевшая из классной и с размаху бросившаяся брату на шею, так что он охнул и чуть не упал.

И Елизавета Аркадьевна.

Она спустилась последней — медленно, держась за перила, будто не доверяя своим ногам. Остановилась на нижней ступеньке. Посмотрела на сына — на его серое лицо, на мокрую шинель, на руку, прижатую к боку.

— Митя, — сказала она.

— Маменька, — ответил он и попытался улыбнуться. — Я же писал вам. Я вполне…

Он не договорил. Колени у него подогнулись, и, если бы Варвара и Николай Петрович не подхватили его с двух сторон, он упал бы прямо на каменный пол передней.

Его отнесли наверх, в приготовленные комнаты, раздели, уложили. Послали в Гдов за лекарем — но все знали, что лекарь, назначенный на место покойного Тихонова, ещё не приехал из Петербурга, а фельдшер Сидоров, единственный, кто остался, третий день пьёт по случаю именин свояка. Да и дорога такая, что раньше чем к утру никто не доберётся.

Когда сняли повязку, Елизавета Аркадьевна вскрикнула и отвернулась. Рана в правом боку, под рёбрами, длинная, рваная, плохо стянутая грубыми госпитальными швами, воспалилась и сочилась гноем. Кожа вокруг была красной, горячей, натянутой.

— Господи, — прошептала Марфа Игнатьевна. — Господи, помилуй.

Варвара стояла у двери, сжав руки. Она знала, что ей здесь не место. Гувернантке нечего делать в спальне молодого барина. Но она видела рану. И она знала, что нужно делать.

Отец показывал ей такие раны. Прошлой весной, когда мужик из Самолвы распорол себе ногу багром, она помогала отцу его лечить. Она помнила каждое отцовское движение, каждое слово.

— Сударыня, — сказала она, и все обернулись к ней. — Позвольте мне.

Елизавета Аркадьевна посмотрела на неё с новым, непривычным вниманием.

— Вам? Что вы можете?

— Отец учил меня. Я помогала ему восемь лет. Рану нужно очистить, иначе начнётся антонов огонь. До утра ждать нельзя.

— Вы… вы девица. Это неприлично.

— Неприлично будет, если он умрёт, — сказала Варвара, и голос её прозвучал резче, чем она хотела. — Простите, сударыня. Но это так.

Наступила тишина. Елизавета Аркадьевна смотрела на неё, и в её тёмных глазах боролись гордость, страх и что-то ещё. Николай Петрович шагнул вперёд.

— Лиза, — только и сказал он. — Лиза, пусть она попробует. Тихонов был лучшим лекарем в уезде. Пусть попробует.

Елизавета Аркадьевна сжала губы. Потом коротко кивнула.

— Что вам нужно?

Варвара быстро перечислила: кипячёной воды, много, и чистого полотна, и ножницы, и спирту или крепкой водки, и свечей побольше. И ещё — она сбегает к себе, у неё в сундучке отцовская сумка с инструментами и мазями. Она сама не знала, зачем взяла её с собой в Устье. Теперь знала.

Она работала больше часа.

Дмитрий лежал на постели, раздетый до пояса, белый, с закушенной губой, и смотрел в потолок. Ему дали водки — много, чуть ли не полбутылки, — но он всё равно чувствовал всё, и Варвара это знала. Он не стонал. Только иногда, когда она касалась самого больного места, мышцы на его животе каменели, а пальцы впивались в простыню так, что белели костяшки.

Она промыла рану, сняла два воспалённых шва, выпустила гной, снова промыла — отцовским раствором, жгучим, пахнущим горько и резко. Её руки делали всё сами, будто отец стоял рядом и направлял их. Она не думала о том, что перед ней молодой барин, сын её хозяйки, полуголый мужчина, чьё тело она видела так близко, как не видела ничьего. Она думала только о ране.

Только потом, когда всё было кончено и она накладывала чистую повязку, обматывая полотно вокруг его торса, — только тогда она вдруг увидела его.

Увидела широкую грудь, поросшую тёмными волосками, и старый белый шрам на плече, и выступающие от худобы рёбра, и плоский твёрдый живот, вздрагивающий под её пальцами. Увидела, как бьётся жилка у него на шее. Почувствовала жар его кожи под своими ладонями — горячей, влажной от испарины. И почувствовала, что он смотрит на неё.

Она подняла глаза. Он смотрел на неё из-под полуопущен-

ных век — затуманенным от водки и боли взглядом, но пристально и не отрываясь.

— У вас холодные руки, — сказал он вполголоса. — Это хорошо. Это очень хорошо.

Варвара почувствовала, как вспыхнуло её лицо. Она торопливо завязала концы повязки и отступила от кровати.

— Всё, — сказала она, обращаясь не к нему, а к Елизавете Аркадьевне, которая всё это время стояла у окна, прямая, как изваяние. — Теперь нужен покой. И питьё — много питья, клюквенного морсу, отвару шиповника. Если к утру жар не спадёт, нужно будет снова менять повязку. И лекаря всё-таки нужно. Настоящего.

Елизавета Аркадьевна медленно повернулась к ней. Лицо у неё было непроницаемое.

— Благодарю вас, Варвара Лаврентьевна, — сказала она. — Можете идти.

И в этом «благодарю» не было ни капли тепла.

Варвара вышла в коридор и прислонилась к стене. Ноги вдруг стали ватными, руки задрожали. Она посмотрела на свои ладони — на них ещё оставались бурые пятна, которые она не смогла отмыть.

— Браво, — раздался рядом ленивый голос. — Браво, мадемуазель. Вы, оказывается, не только гувернантка. Вы ещё и сестра милосердия. Какие таланты!

Ладыжин стоял у окна в конце коридора, заложив руки за спину. Варвара не слышала, как он подошёл, и не знала,

давно ли он здесь.

— Я сделала то, что было нужно, сударь, — сказала она устало.

— О, не сомневаюсь. Только я бы на вашем месте не обольщался. — Он подошёл ближе, и она снова почувствовала запах вина. — Тётушка не любит, когда кто-то оказывается нужнее, чем ему положено. Особенно когда речь идёт о её драгоценном Митеньке. Вы видели её лицо?

Варвара видела. Но ничего не ответила.

— Она вам этого не простит, — продолжал Ладыжин, понизив голос. — Помяните моё слово. Ни того, что вы спасли её сына, когда она сама ничего не могла сделать. Ни того, как он на вас смотрел.

— Он ни на кого не смотрел, — сказала Варвара. — У него был жар.

— Жар, — усмехнулся Ладыжин. — Ну разумеется. Жар.

Он протянул руку и, прежде чем она успела отстраниться, взял пальцами выбившуюся у неё из причёски прядь волос.

— Вам нужен друг в этом доме, Варенька, — сказал он почти ласково. — Тот, кто сможет вас защитить, когда тётушка решит от вас избавиться. А она решит, поверьте. Подумайте об этом.

Варвара отдёрнула голову.

— Покойной ночи, Евгений Аркадьевич, — сказала она и пошла прочь по коридору, чувствуя на себе его взгляд.

Она не спала в ту ночь.

Лежала в своей тесной комнатке под крышей, слушала, как воет ветер и как стучит по стеклу дождь, и думала. О том, что сказал Ладыжин. О том, как смотрела на неё Елизавета Аркадьевна. О том, что гувернантке нечего делать в спальне молодого барина.

И о том, как смотрел на неё он — Дмитрий. Там, на берегу, когда назвал её русалкой. И потом, в спальне, когда сказал: «У вас холодные руки». Она снова и снова вспоминала жар его кожи под своими пальцами, его тяжёлую руку на своей талии, когда они поднимались по тропинке. Вспоминала его голос.

«Глупости, — говорила она себе. — Глупости, Варвара Лаврентьевна. Он барин, а ты — никто. Он сын твоей хозяйки. Он был пьян от водки и от боли и ничего не соображал. Завтра он тебя и не вспомнит».

Но уснуть она так и не смогла.

Под утро, когда за окном только начинало сереть, в дверь её комнаты осторожно постучали.

— Варвара Лаврентьевна, — шёпотом позвала Глаша. — Варвара Лаврентьевна, вы не спите? Барыня зовёт. Молодому барину хуже. Бредит он. И всё вас зовёт. Русалку какую-то. Барыня велела вас привести.

Глава 4. Лихорадка

Он горел девять дней.

Потом, много позже, Варвара будет вспоминать эти девять дней как самые страшные и самые счастливые в своей жизни — и никогда не сможет объяснить, как одно уживалось с другим.

Новый уездный лекарь, Карл Фёдорович Вейде, приехал из Гдова только на третьи сутки — молодой, белобрысый, близорукий немец, недавно выпущенный из Дерпта. Он долго осматривал рану, хмыкал, протирал очки и наконец сказал, обращаясь к Елизавете Аркадьевне:

— Кто это делал, сударыня?

— Наша гувернантка, — ответила та сухо. — Дочь покойного Тихонова.

Вейде повернулся к Варваре, стоявшей у двери, и посмотрел на неё с откровенным изумлением.

— Вы, мадемуазель? Вы сами вскрыли нагноение?

— Отец меня учил, — сказала Варвара.

— Отец ваш, должно быть, был превосходный учитель. — Вейде покачал головой. — Если бы не вы, сударыня, — это он снова сказал Елизавете Аркадьевне, — вашего сына, вероятнее всего, уже не было бы в живых. Антонов огонь развивается быстро. Теперь же… теперь, я думаю, мы его вытащим. Если, конечно, мадемуазель согласится мне помо-

гать. Я не могу оставаться здесь постоянно. А уход ему нужен опытный.

Елизавета Аркадьевна молчала долго. Так долго, что Вейде, кажется, смутился.

— Варвара Лаврентьевна будет помогать, — сказала она наконец. — Разумеется. Под моим присмотром.

Присмотр, однако, длился недолго. Уже к вечеру четвёртого дня у Елизаветы Аркадьевны разыгралась мигрень — тяжёлая, с рвотой, с сильнейшей болью, от которой она не могла поднять голову с подушки. Она слегла в своей спальне за задёрнутыми шторами, и при молодом барине остались Варвара, старая няня Агафья, дремавшая в углу в кресле, и Глаша на побегушках.

Варвара почти не уходила из его комнаты.

Она меняла повязки — дважды в день, утром и вечером, — промывала рану раствором, который оставил Вейде, накладывала мазь. Поила его клюквенным морсом и отваром шиповника, по ложке, приподнимая его голову на своей руке. Обтирала его горячее тело уксусной водой, когда жар становился нестерпимым. Считала пульс. Записывала всё в отцовскую тетрадь, как он её учил, — время, температуру, пульс, что ел, что пил, — и Вейде, приезжая через день, читал эти записи и одобрительно кивал.

А по ночам он бредил.

Он звал каких-то людей — Звягина, Остроухова, Сеньку-барабанщика. Отдавал команды. Кричал: «Ложись! Ло-

жись, дурак!» — и так рвался с постели, что Варваре приходилось наваливаться на него всем телом, удерживая, чтобы не разошлась рана. Однажды он заплакал — тихо, по-детски, — и сказал: «Ему было шестнадцать лет, понимаете? Шестнадцать. Его мать писала мне, просила присмотреть». Варвара не знала, о ком он говорит, но держала его за руку и гладила по волосам, пока он не затих.

Иногда он звал её.

— Русалка, — шептал он, не открывая глаз. — Русалка, ты где? Не уходи. У тебя холодные руки.

— Я здесь, — отвечала она и клала ладонь ему на лоб. — Я здесь, Дмитрий Николаевич. Спите.

И он затихал под её рукой.

Няня Агафья, проснувшись однажды среди ночи и увидев эту картину — Варвару, сидящую на краю постели, и молодого барина, спящего с её рукой на лбу, — долго смотрела на них своими выцветшими старушечьими глазами, а потом перекрестилась и пробормотала:

— Ох, девка, девка. Пропадёшь ты.

— Отчего, нянюшка?

— А оттого. — Агафья вздохнула и снова закрыла глаза. — Сама знаешь отчего.

Варвара знала. Но руки не убрала.

На девятый день жар спал.

Это случилось под утро, в самый тёмный, самый глухой час, когда в доме спали все, даже собаки во дворе. Варвара

задремала в кресле у его постели, уронив голову на руку, и проснулась оттого, что что-то изменилось.

Она не сразу поняла что. В комнате было тихо. Догорала свеча на столе. За окном шёл снег — первый в этом году, крупный, медленный, — и в его белом свете всё казалось призрачным и нереальным.

Дмитрий не спал. Он лежал на спине и смотрел на неё. Глаза у него были ясные — впервые за девять дней ясные, тёмные, внимательные.

— Здравствуйте, — сказал он. Голос его был слабый, хриплый, но свой, не бредовый.

Варвара вскочила и положила руку ему на лоб. Лоб был прохладный и влажный от испарины.

— Жар спал, — прошептала она. — Слава Богу. Слава Богу!

И вдруг, неожиданно для самой себя, заплакала — облегчённо, неудержимо, закрыв лицо руками.

Он молча смотрел на неё. Потом с видимым трудом поднял руку и коснулся её запястья.

— Не плачьте, — сказал он. — Пожалуйста, не плачьте. Я ведь не умер.

— Я знаю. — Она засмеялась сквозь слёзы. — Знаю. Простите. Это просто… я так устала.

— Вы сидели со мной всё это время?

— Почти.

— Сколько?

— Девять дней.

Он ответил не сразу.

— Я помню, — сказал он. — Не всё. Обрывками. Помню, как вы держали меня, когда я… когда мне казалось, что я снова там. На кургане. Помню ваш голос. Вы читали мне что-то.

— «Капитанскую дочку», — сказала Варвара, вытирая глаза. — Глаша нашла её у вас на полке. Я думала, вы не слышите.

— Слышал. Не всё понимал, но слышал. — Его пальцы всё ещё лежали на её запястье, лёгкие, горячие. — Варвара Лаврентьевна…

— Да?

— Спасибо вам.

Они смотрели друг на друга в белом снежном полусвете, и Варвара вдруг почувствовала, что не может отвести глаз. Что-то происходило между ними — что-то, чему она не знала названия, но от чего у неё перехватывало дыхание и горели щёки.

Она осторожно высвободила руку.

— Вам нужно поспать, — сказала она. — Теперь — по-настоящему. А я пойду разбужу Марфу Игнатьевну. И пошлю сказать Елизавете Аркадьевне.

— Не уходите, — сказал он.

— Мне нужно.

— Хоть минуту. Посидите ещё минуту.

Она посидела. Он закрыл глаза и почти сразу уснул — спокойно, ровно, как спят выздоравливающие. А Варвара сидела рядом и смотрела на его лицо, худое, заросшее тёмной щетиной, на тени от ресниц на его щеках, на его губы, — и понимала, что пропала. Что няня Агафья была права.

Выздоровление шло медленно.

Вейде запретил Дмитрию вставать до Николина дня, и Дмитрий, едва придя в себя, взбунтовался. Он был ужасным больным — нетерпеливым, капризным, раздражительным. Он ругал бульон, ругал морс, ругал Вейде, ругал собственную слабость, из-за которой не мог даже сесть в постели без посторонней помощи. Соня, приходившая к брату по три раза на дню, жаловалась Варваре, что Митя «стал злой, как цепной пёс».

— Это не злость, — объяснила ей Варвара. — Это страх. Мужчинам невыносимо быть слабыми. Они от этого злятся.

— А вы откуда знаете, какие бывают мужчины? — спросила Соня с любопытством.

Варвара улыбнулась.

— Я много лет помогала отцу. Мужчины и женщины болеют по-разному. Женщины плачут, а мужчины злятся.

С ней самой Дмитрий злиться не смел — или не хотел. Когда она приходила менять повязку, он затихал и становился покорным, только следил за её руками тёмным внимательным взглядом. Елизавета Аркадьевна, оправившись от мигрени, снова стала присутствовать при перевязках, сидела

у окна с рукоделием, прямая и молчаливая, и Варвара чувствовала её взгляд спиной — тяжёлый, холодный, неотрывный.

Но были и часы, когда Елизаветы Аркадьевны не было рядом. Когда она уезжала в Гдов к обедне или принимала соседей, или ложилась отдохнуть после обеда. В эти часы Дмитрий посылал Глашу за гувернанткой — «почитать», как он говорил, — и Варвара приходила, садилась у его постели с книгой, и они читали. Или не читали, а разговаривали.

Они говорили обо всём. О книгах — он любил Лермонтова и терпеть не мог Гоголя, она — наоборот, и они спорили до хрипоты. О музыке. О звёздах — он знал их все, научился в Крыму, долгими ночами в траншеях. О её отце — она рассказывала ему, каким он был, и Дмитрий слушал, не перебивая. О войне — об этом он говорил мало и неохотно, но однажды рассказал ей про Сеньку-барабанщика, шестнадцатилетнего мальчишку из-под Новгорода, которого убило ядром у него на глазах, и про то, как он, Дмитрий, писал потом Сенькиной матери письмо и не мог найти слов.

— Знаете, что самое страшное? — сказал он тогда, глядя в окно, на заснеженный парк. — Не смерть. К смерти привыкаешь. Самое страшное — это когда ты понимаешь, что всё было зря. Что мы проиграли. Что все они — Сенька, Звягин, Остроухов — умерли просто так. Ни за что. Потому что где-то в Петербурге кто-то чего-то не рассчитал.

— Они умерли не зря, — сказала Варвара тихо. — Они

умерли, защищая своих. Это никогда не бывает зря.

Он повернулся к ней.

— Вы правда так думаете?

— Мой отец умер, леча чужих людей от холеры. Половина из них всё равно умерла. Он мог бы уехать в Петербург, как мадемуазель Дюпре. Но остался. Зря?

Дмитрий не сводил с неё глаз.

— Нет, — сказал он наконец. — Не зря.

После Николина дня Вейде разрешил ему вставать.

Сначала он ходил по комнате, держась за мебель и тяжело опираясь на трость. Потом — по коридору. Потом спустился в гостиную, к обеду, и Николай Петрович прослезился, глядя на сына, а Соня захлопала в ладоши.

А в середине декабря, в ясный морозный день, когда снег искрился на солнце так, что больно было глазам, он вышел в парк.

Варвара увидела его из окна классной. Он шёл по расчищенной аллее — в шубе, в меховой шапке, с тростью, — медленно, но уверенно, и снег скрипел у него под ногами. Соня как раз писала диктант, и Варвара, продиктовав последнюю фразу, сказала:

— Проверьте сами, Софья Николаевна. Я сейчас вернусь.

Она накинула шубку и выбежала в парк — сама не зная зачем.

Он стоял у старой оранжереи, глядя на её разбитые стёкла, на сугробы, наметённые внутрь, на мёртвые, почерневшие от

мороза ветки лимонных деревьев.

— Когда я был маленький, здесь росли апельсины, — сказал он, не оборачиваясь, будто знал, что это она. — Настоящие. И персики. И розы круглый год. Мать гордилась этой оранжереей больше, чем мной. А теперь — посмотрите.

— Её можно восстановить, — сказала Варвара, подходя ближе.

— Можно. Были бы деньги. — Он невесело усмехнулся. — Вы ведь знаете, что мы разорены, Варвара Лаврентьевна? Весь Гдов, наверное, знает.

— Я слышала, что имение заложено.

— Заложено и перезаложено. Отец играет. Женя ведёт дела так, что доходы падают каждый год. А мать… мать делает вид, что ничего не происходит. Что мы по-прежнему Полозовы из Устья, которых принимал покойный государь. — Он повернулся к ней. — Вы мёрзнете. У вас нос покраснел.

— Неправда.

— Правда. — Он улыбнулся — той самой насмешливой, тёплой улыбкой, что была на портрете. — Вы очень хорошенькая с красным носом, Варвара Лаврентьевна. Вы это знаете?

Она почувствовала, что краснеет — уже не только носом.

— Вам не следует так со мной говорить, Дмитрий Николаевич.

— Отчего?

— Вы знаете отчего.

Он шагнул к ней. Снег скрипнул под его сапогом. Они стояли теперь совсем близко — так близко, что она видела морозный иней на его ресницах и пар от его дыхания, смешивавшийся с её собственным.

— Оттого что вы гувернантка, а я — сын вашей хозяйки? — спросил он тихо. — Оттого что мать откажет вам от места, если узнает? Вы думаете, мне это не приходило в голову? Я думаю об этом каждый день с тех пор, как очнулся и увидел вас у своей постели.

— Дмитрий Николаевич…

— Нет, дайте мне сказать. — Он снял перчатку и осторожно, едва касаясь, отвёл с её щеки выбившуюся из-под платка прядь. Пальцы у него были тёплые, а её щека — холодная, и от этого прикосновения у неё по всему телу пробежала дрожь. — Вы спасли мне жизнь. Вы сидели со мной девять ночей. Вы держали меня, когда я сходил с ума. Я помню каждое ваше прикосновение, Варя. Каждое. Я помню, как вы гладили меня по волосам. Неужели вы думаете, что после этого я смогу смотреть на вас как на гувернантку моей сестры?

Варвара стояла не дыша. Его рука всё ещё касалась её щеки. Его тёмные глаза были совсем близко. Ей хотелось — Боже, как ей хотелось! — закрыть глаза, прижаться щекой к его ладони, шагнуть ещё ближе, туда, где он ждал её.

Вместо этого она отступила.

— Вы должны, — сказала она, и голос её дрожал. — Долж-

ны, Дмитрий Николаевич. Ради меня. Если вы хоть немного благодарны мне — смотрите на меня как на гувернантку вашей сестры. Иначе мне придётся уйти. А мне некуда идти.

Он смотрел на неё долго. Потом медленно опустил руку и снова натянул перчатку.

— Хорошо, — сказал он. — Как скажете. Пока — как скажете.

— Не «пока». Навсегда.

Он ничего не ответил. Только улыбнулся — уголком рта, тем самым насмешливым, упрямым выражением, — и Варвара поняла, что он не поверил ни одному её слову. И что она сама себе не верит.

Она повернулась и почти бегом пошла к дому, к тёплым окнам классной, где ждала её Соня с диктантом. И не оглядывалась, хотя всей спиной чувствовала его взгляд.

А наверху, в окне малой гостиной, за кружевной занавеской, стояла Елизавета Аркадьевна и смотрела им вслед. Варвара её не видела. Зато её видел Ладыжин, шедший по коридору мимо открытой двери, — и тихо, удовлетворённо усмехнулся.

Глава 5. Закладная

Рождество в Устье праздновали по-старинному, как праздновали при деде Николая Петровича, — с ёлкой в большой зале, с колядующими из деревни, с ряжеными, с санками с горы к озеру, где лёд уже стал крепкий, толстый, зелёный, как бутылочное стекло.

Варвара никогда прежде не видела такого Рождества. В доме её родителей ёлок не ставили — отец считал это немецкой выдумкой, — а просто ходили к заутрене в собор, а потом пили чай с пирогами. Здесь же всё было иначе. Зала, в которой обычно стояла холодная, пыльная тишина, вдруг наполнилась светом, запахом хвои и воска, шуршанием шёлка. Ёлку, огромную, под самый потолок, привезли из бора на двух санях. Соня и Варвара два вечера подряд клеили для неё бумажные цепи, золотили орехи, вешали пряники и восковые свечки в жестяных подсвечниках.

В сочельник съехались соседи — помещики Бестужевы из Кярова, старый отставной генерал Жеребцов с тремя дочерьми-перестарками, вдова Арсеньева с сыном-студентом, отец Иоанн с попадьёй. Николай Петрович сиял, раздавал подарки, рассказывал охотничьи истории. Елизавета Аркадьевна, в тёмно-лиловом бархате, с изумрудной брошью на груди, была величественна и любезна. Дмитрий, всё ещё бледный и опирающийся на трость, но уже без повязки на боку, прини-

мал поздравления и поцелуи генеральских дочерей с видом стоика, идущего на казнь.

Варвара, по правилу Елизаветы Аркадьевны, должна была в такие вечера оставаться с Соней в классной. Но Соня взбунтовалась.

— Не пойду я в классную! — объявила она за полчаса до приезда гостей. — Это Рождество! Если Варвара Лаврентьевна не будет в зале, я тоже не буду. Буду сидеть наверху и реветь. И все спросят, где Соня, а вы скажете, что Соня ревёт, потому что вы обидели её гувернантку.

Елизавета Аркадьевна смерила дочь ледяным взглядом.

— Ты дерзишь, Софья.

— Пусть дерзит, Лиза, — вмешался Николай Петрович, благодушный по случаю праздника. — Пусть Варвара Лаврентьевна посидит с нами. Ну что тебе, жалко? Рождество ведь.

И Варвара сидела в зале — в углу, на стуле у стены, в своём единственном праздничном платье: тёмно-синем шерстяном, с белым кружевным воротничком, когда-то перешитом из материного. Она смотрела, как танцуют, как смеются, как Ладыжин кружит в вальсе младшую генеральскую дочь, а та краснеет до корней волос. И старалась не смотреть на Дмитрия.

Но он смотрел на неё. Она чувствовала это весь вечер.

На святки, в ночь под Васильев день, Глаша уговорила её гадать.

— Ну, Варвара Лаврентьевна, ну миленькая, — упрашивала она, — ну что вам стоит? Мы с Софьей Николаевной уже всё приготовили. И зеркала, и свечи, и воск. Барыня спит, барин в Гдове в клубе, Ладыжин с ним. Никто не узнает!

Соня, стоявшая рядом, умоляюще сложила руки.

— Ну пожалуйста! Я так хочу узнать, за кого выйду замуж!

— Вам тринадцать лет, Софья Николаевна, — засмеялась Варвара. — Вам рано знать.

— Вот вы и гадайте, — тут же нашлась Соня. — Вам-то не рано. А я посмотрю.

Варвара сдалась.

Гадали в бане — по всем правилам, как говорила Глаша, — пустой, нетопленой, тёмной, стоявшей на краю парка у самого берега. Пробирались туда по сугробам, хихикая и вздрагивая от каждого шороха. Сначала лили воск в миску с водой, и у Глаши вышло что-то похожее на колечко — она взвизгнула от восторга, — а у Сони не вышло ничего, бесформенная лепёшка, и она обиделась. Потом бросали за ворота валенок, и Глашин упал носком к Гдову — к жениху из города.

А потом Глаша поставила на лавку два зеркала — одно напротив другого — и зажгла перед ними две свечи.

— Теперь вы, Варвара Лаврентьевна, — сказала она шёпотом. — Садитесь и глядите. В самую глубь глядите, где ко-

ридор кончается. И говорите: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне ужинать». Только не оборачивайтесь, а то худо будет. А мы с Софьей Николаевной в предбаннике подождём.

— Глупости это всё, — сказала Варвара. Но села.

Дверь за Глашей и Соней закрылась. Варвара осталась одна.

В бане было холодно и темно, пахло старыми берёзовыми вениками и сырым деревом. Свечи горели ровно, не мигая. В зеркале перед ней уходил вглубь бесконечный коридор огоньков — всё меньше, всё тусклее, всё дальше, — и в самом конце его была тьма.

Она смотрела в эту тьму, и ей становилось не по себе.

— Суженый мой, ряженый, — прошептала она, сама над собой посмеиваясь, — приди ко мне ужинать.

Ничего не случилось. Огоньки горели. Тьма в конце коридора была неподвижна.

Варвара уже хотела встать — и вдруг услышала, как скрипнула за её спиной дверь. Не та, что вела в предбанник, а другая — с улицы.

Она замерла. В зеркале, в глубине огненного коридора, за её собственным бледным отражением, проступила тень — высокая, тёмная, в шубе.

Сердце у неё остановилось.

— Не оборачивайтесь, — сказал тихий голос у неё за спиной. — А то худо будет. Так ведь, кажется, полагается?

Варвара вскочила и обернулась.

В дверях стоял Дмитрий. Шапка у него была в снегу, на ресницах иней, а на губах — улыбка.

— Вы! — выдохнула она. — Вы… как вы смеете! Вы меня до смерти напугали!

— Простите. — Он, кажется, и сам смутился. — Я не нарочно. Я шёл с озера — ходил смотреть, крепок ли лёд, — и увидел свет в бане. Подумал, мало ли — пожар или воры. А тут…

Он не договорил. Они стояли друг против друга в холодной тёмной бане, освещённой только двумя свечами, и смотрели друг на друга. Варвара слышала, как за дверью предбанника шепчутся и хихикают Глаша и Соня — они, конечно, всё слышали.

— Значит, вы и есть мой суженый? — сказала Варвара, пытаясь обратить всё в шутку, но голос её дрожал. — Ряженый, в шубе?

Дмитрий не улыбнулся. Он смотрел на неё серьёзно, почти строго.

— А вы бы этого хотели? — спросил он тихо.

Варвара не ответила. Не могла ответить.

Дверь предбанника распахнулась, и в баню ввалилась Соня, красная от смеха и холода.

— Митя! Это ты! Ой, Варвара Лаврентьевна, это же он! В зеркале! Значит, вы за Митю замуж выйдете!

— Соня! — сказали они оба в один голос.

И Соня, хохоча, убежала обратно к Глаше.

В ту же ночь, уже после полуночи, когда все в доме спали, а Варвара сидела у себя в мезонине и пыталась читать, но не могла прочесть ни строчки, на лестнице снова послышались шаги. Тяжёлые, мужские, неровные — с перестуком трости.

Она замерла. Шаги остановились у её двери.

— Варя, — тихо сказал он за дверью. — Варвара Лаврентьевна. Не открывайте, если не хотите. Я только хотел сказать… простите меня. За сегодняшнее. Я не хотел вас пугать. И не хотел, чтобы Соня…

Она подошла к двери. Положила ладонь на гладкое холодное дерево. С той стороны, она знала, он стоял совсем близко — их разделял только дюйм сосновой доски.

— Я не сержусь, — сказала она.

— Правда?

— Правда. Ступайте спать, Дмитрий Николаевич. Вам нельзя по лестницам. У вас рана.

Он помолчал. Потом она услышала, как он тихо засмеялся.

— Вы даже через дверь лечите меня, Варя.

— Ступайте.

— Иду. — Пауза. — Покойной ночи, русалка.

Шаги удалились, перестукивая тростью. Варвара прислонилась лбом к двери и стояла так долго-долго, пока не замёрзли ноги.

После Крещения, в один из тех серых зимних дней, когда темнеет уже в три часа, Николай Петрович позвал сына в

кабинет.

Варвара не собиралась подслушивать. Кабинет Николая Петровича был рядом с библиотекой, а библиотека — единственное место в доме, где она могла найти учебник по истории для Сони. Она стояла у полки, перебирая потрёпанные корешки, когда услышала голоса — сначала приглушённые, потом всё громче.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.